**НЕ УМРИ**

*Александр Орлов. « Кимера». М.: Азбуковник , 2020*

Высший пилотаж для художника – приблизиться к границе, где внутри произведения начинается работа не только с пространством видимого мира, но и с временем, – и вдруг свободно, вольно дыша, перейти эту границу.

Время измеряется памяью. Мера памяти – горькая мера. («Чудь начудила, да Меря намерила...» – помним Блока, и пытаемся понять, откуда это – Кимры, Ки-мера, ме-ря... Мрт – древний санскритский корень, обозначающий и смрити – память, и мритья – смерть; впрочем, видно, как в русском языке эта безумная, немыслимая древность сохранилась...) А художник изначально безмерен. Безмерность его – не в анархии. Поэт, опираясь на древнейшие жанры – песня и молитва – влагают, вмещают весь окоем, весь Мiръ, всю ойкумену в отточенность любимой веками (и даже тысячелетиями) формы.

За плечами поэта – предки. Память предков, мощный, то мрачный, то кристально-светлый симфонизм, многофигурная фреска. В случае Орлова она не умозрительна. Память рода – это хор, то ясно слышимый, то едва, призрачно чуемый через плотные слои тысячелетий, – похлеще Девятой симфонии Бетховена. Языческие боги, что радуются сторожевым бдениям на свежих и давних могилах, и Христос, тот русский Христос, что протягивает руки идущим к нему по снегу крестьянам в лаптях, монахиням в черных клобуках, детям в бараньих тулупчиках, мастеровым и солдатам, – идут рука об руку, вместе. Почему так?
Только ли в России так? Наша страна явила миру невероятное соединение жизнетворного, яркого язычества и христианской любви великой силы. Тот Христос, с которым мы ходили на Куликово поле, на Бородинское поле, на Курскую дугу, навеки вышит нами золотом на знаменах. И знамена эти не сжечь, не разорвать, и не истлеют они.

История слишком хорошо знает, что такое трагедия тления. Вселенского забвения. Инферно, Дантов Ад, даже не в ужасных телесных мученьях: он в зловещем торжестве тленья, от которого спасение – лишь память, лишь она одна. Правда, тяжек иногда памяти груз. Тяжелы эти крыла, с виду Ангельские. Изрядно, за все века, изранены они. Всяк из нас, кто ПОМНИТ, – такой вот Ангел или Ангелица, но с этими родными живыми крыльями не расстанется ни за что. Ибо только они, крылья памяти, – и жизнь, и истина, и путь, и оправдание. Ибо они – Бог.

И человек работающий, творящий по мере сил (опять по мере!..) этого Бога, нашу великую память, запечатлевает. В этом – миссия.

Таков Александр Орлов.

Он соединяет в своих работах мир дольний и Мiръ Горний.

Такова его новая поэтическая книга – «Кимера» .

Вещность мира – наша мера его узнавания. Мы свято храним вещи, артефакты ушедших годов и веков, овеществленную память рода.

В обнимку там с ухватом кочерга,

С лопатой хлебной рядом сковородник,

Под сундуком – пропавшая серьга,

А на портрете – мой погибший сродник.

В ряд с кружками встал глиняный горшок,

Во тьме сеней скучают бочки, кадки.

Там жизнь идёт в незыблемом порядке,

И русским отовсюду виден Бог.

Мы глядим на «иконы, благовестки, ордена» – и благоговение, и печаль и тоска охватывает нас: нет уже людей, а приметы их жизней остались, и они твои... навек или до поры? До той сужденной поры, когда ты сам уйдешь в ночь, и не знаешь, в какую – зимнюю или летнюю... Смерть есть память. А значит, как ни парадоксально, она есть жизнь.

Орлов – соединительная вертикаль, становая жила меж землей нынешних и небесами предков. Потому для него так явственно горька война. Это было с ним самим, здесь и сейчас. Это чудо возвращенной силы сопереживания и нравственное (не только эстетическое) потрясение для читателя, привыкшего к отстраненности и остраненности сегодняшних текстов:

В ночь на Волге-матушке затвердел весь лёд,

По нему на саночках дочку мать везёт.

Вслух под вьюгу молится, читает тропари,

Слёзно просит доченьку: только не умри,

Не умри, любимая, будет проклят фриц,

Нам ещё немножечко в одну из двух больниц.

Там у того берега встретят нас врачи,

Потерпи, кровиночка, слышишь, не молчи.

Вытащат осколочки из твоей груди,

Только, моя девочка, глаза не заводи.

Видишь, моя милая, как Волга широка.

Льдом покрылась девочки правая щека.

Это не картина, которую мастер спокойно пишет, отходя от мольберта и любуясь свежими мазками. Поэт живо и горестно пребывает там и тогда. Он тяжело и медленно идет вместе с несчастной матерью по льду Волги, волоча санки со смертельно раненным ребенком; он иной раз впрягается в эти утлые санки и помогает изможденной матери, хотя у Орлова об этом ни полслова. Но это видно и слышно. Он здесь не наблюдатель.
Он здесь – само горе, персонифицированное, воплощенное: так художники Возрождения писали себя на фресках, где изображали много чего современного им – от пиршества до пожара. Но фигура поэта на зимней военной картине не видна. Он здесь – Ангел невидимый. Незримый.

Перевоплощение у Орлова – отнюдь не внешний, не актерский прием, не мегаметафора; когда он говорит в военном своем стихотворении от первого лица, это « я» – как из торопливых военных писем в тыл – жене, невесте, матери, отцу, семье, в которую надо обязательно вернуться, минуя смерть, но ее не миновать, а чем от нее можно спастись?.. только молитвой. Не секрет, что многие вчерашние пионеры и комсомольцы, воспитанные в Советской стране в духе воинствующего атеизма, на фронте, в особенности – перед боями, уверовали.

Расскажи, как умереть без страха,

Ты не думай, я совсем не трус,

Когда время есть, то я молюсь.

Война для поэта находится так близко, что не ведаешь: он ли в войне (на войне!) или война – вечным железным осколком – в нем. Война –
мужское дело, убивать – тяжко. Но как еще ты защитишь от смерти родню? Родня – вот еще один архетип в стихах Орлова. Хлебник, что пал на Ладоге... вдовец, что шепчет другу: «Нам немного еще до Ростова»... дочка полкового комиссара, что приходит во сне к смертельно раненному в Сталинградской битве... – все это изображение абсолютного родства, и все эти люди Орлову – не просто чужие памятники, а близкие, кровники. Одним, двумя штрихами поэт и подчеркивает эту родственную связь, и очерчивает портрет, чтобы мы увидели предка, за нас погибшего, уже во глубине прошедшего столетия:

Первая красавица филфака,

Был в неё влюблён весь батальон.

Буду жив – и на стене рейхстага

Среди тысяч фронтовых имён

Напишу размашисто – Марина,

Чтобы видно было за версту.

Вон пришла почтовая машина,

До неё я сам давай дойду.

Снова – от первого лица. Поэт подхватывает песню, оборванную когда-то. Он слышит эту музыку. Он поет ее. Во временах в унисон сливаются голоса.

Но вот она перед нами и настоящая родня – бабушка (мы слышим ее голос, ее исповедь – в триптих о бабушке поэта вместилась вся ее жизнь...), прадед – поэт разговаривает с ним, вспоминая, как он погиб...

На порог похоронка

С горькой вестью легла,

И завыла девчонка,

И в глазах её мгла.

И жена своё горе

Скрыла в чёрный платок.

Знаю: в ангельском хоре

Ты их жизни сберёг.

Вот он опять звучит, незабвенный Ангельский хор. Все Ангелы там, в запределье, в эмпиреях – это, оказывается, вся наша родня. Землю пахали, танки на заводах собирали, рыбу ловили, дома возводили, а когда воевали, себе пощады не знали. Так и жили. Так и умирали. И Ангелами стали. И вот теперь Ангелы эти поют в небесах, и у нашей жизни на страже стоят, на часах. Об этом говорит нам Орлов; об этом его несмолкаемая военная песня. У костра, перед боем.

И каким-то странным, неведомым образом все эти люди, герои войны, ее незаметные работники, переселяются, перетекают в других людей, в народ наконец-то явившегося мира – и вчерашних зэков, отпущенных из-за колючки на волю, и в волжских рыбаков... в широкоплечего здоровяка-соседа, что приходит к матери поэта занимать трешницу на опохмел... Всех этих новых людей поэт знает, видел; говорил не только с ушедшим на груженой трехтонке под лед прадедом, но и с ними – живыми соседями, мимохожими, возвращенцами, друзьями, богатеями и нищими родной страны.

Человек среди людей – вот он. Он плывет в людском море. Проживает свою единственную жизнь. Как он ее проживет? Не оплошает ли перед лицом испытаний? Будет ли созидать? А главное, помнить?

Душа живая взыскует святости. Это в русском человеке неистребимо.

И совершенно ни при чем здесь выбранная автором стилистика или тематика. Время, его суд – вот и высшая награда, и высшая мера, если ты обманешь и предашь. Живет долго, и даже вечно, только святое слово.

Дышал вокруг на всё густой отвар,

Но захотелось молока парного,

Как хочется порой святого слова

Вдали от дома посреди хибар.

Вы думаете, это фигура речи? Или, может, думаете, что священное –
это такой анахронизм, вроде архаизма, или тривиальность, вроде «кровь-любовь»? «Святое слово» у Орлова обращает нас к извечному Логосу, к Евангелию от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» . А помните классическую крылатую Иоаннову фразу – дальше по тексту? « И Свет во тьме светит, и тьма не объяла Его . БОГ – СВЕТ – СВЯТ – СВЯТОЕ – семантика более чем понятна. И это есть духовный и образный ориентир поэтики Александра Орлова.

**\* \* \***

Мы всегда оглядываемся, бродя по открытому Мiру поэта: а где тут любовь, где она? И прежде всех страниц лирики, впрямую связанных с изображением любви, сакральных для всякого художника (по этому лакмусу проверяется и сила духа, и сила образа!), мы вдруг сталкиваемся с любовью, что изначальнее, быть может, всех любовей-страстей –
с разлитостью человека в природе, с единением человека и земли, на которой он живет и дышит. Улетающие журавли, тростник, листопад, осеннее небо, в нем – среди серых мчащихся туч – тоска предзимья, обещание, слезы, упование, великая печаль... Поэт – этот улетающий журавль. Поэт – само это небо, чреватое дождями и снегами, но и богатое солнцем, – изнанка Богова священного убруса...

Прокурлыкают птицы

Тростнику и осоке,

Одиноким влюбиться

Уготовлено в сроки.

Эти сроки настали,

Но выходят, однако,

В листопадном запале

По следам полумрака.

Посбиваются клином

Журавли над землёю,

Я небесным тишинам

Своё сердце открою.

Как прекрасно, что именно здесь обрывается стихотворение, от которого втайне ждут интимных, любовных признаний! Да, они есть. Они тут, в глазах, на ладонях поэта. Но они прямиком переливаются в небеса. Здесь небо – священный сосуд, принимающий драгоценное вино страдающей и любящей души. И этой нотой, еле слышной, а по сути – неслышимой нотой потаенного молчания (у Скрябина в музыке существовала «звучащая пауза»!..), поэт убедительнее всего говорит нам о любви: он здесь – Анакреонт плачущих перламутровых русских небес и рыжих осенних русских равнин.

А вот она и зима. И вьюги голосят в ночи, как девки на гулянье.

А поэт идет в Мiре страдальными дантовыми кругами – кругами своей жизни. Не избыть судьбу. Не избыть ее скорбь. Так же, как не избыть и не забыть истинную любовь.

Для надрывных и горестных спевок

В ледяной заколдованный круг

Зимний вечер собрал, будто девок,

Голосистых метелей и вьюг...

(...)

Показалось мне: в горе столетий

Этот вечер виновен да я.

И в сугробах сомкнулся круг третий,

И небес разошлась полынья.

От любви, где «разойтись не позволено мирно – / Расстаемся вразнос», где трагедии и боли больше, чем умиротворенья и блаженства, один шаг до русской святости – до того истинного бытия, до той Истины, что несома в Мiръ была русскими подвижниками, русскими иереями, русскими столпниками, русскими юродивыми.

Выли меж круч ветра,

Прошлого слышу зов,

Это в золе костра

Сень родовых крестов.

Константин Новоторжский Чудотворец, Федор Власяничник, старец Трифон Вятский, святой мученик Христофор Чудотворец, пастух Велес, «святой мужик, пасущий вечно скот», – это все герои Орлова. Не просто герои, действующие лица стихов, а сказать точнее – горящие буквицы-символы, лейтмотивы его поэзии, освещающие – и освящающие ее изнутри. Ее демественные распевы, ее ирмосы и кондаки. Недаром святые творили чудеса.

Чудо – синоним настоящей поэзии. Непорочное Зачатие – чудо, но и обычное зачатие тоже чудо. Чудо – вой метели; чудо – рыбаки с уловом; чудо – рождение весны. Все очень близко. Все слишком рядом. Ушедшие святые становятся духом и кровью нынешнего времени.
И есть у Александра Орлова одно стихотворение – оно словно перстень-печатка, им можно запечатывать горячий сургуч древней духовной (культурной) почты и обозначать письмена, где сохранена память рода; это алый, киноварью или суриком, слепящий мазок на потускневшей фреске канувших во тьму столетий; из этой клубящейся мглы на нас надвигаются люди – и это опять родня, и не просто родня, но воплощенный путь, пройденный родной землей: это безымянный наш, гордый иконостас, и поднимем очи горе, чтобы в полном объеме увидеть его, высокий и чистый – золото из мрака. Нельзя не узреть и не принять сердцем – здесь и сейчас – это стихотворение полностью, – только так можно восчувствовать объемы времен.

Четыре прадеда моих

Живей живых.

Четыре прадеда моих

В снах дождевых.

Четыре прадеда моих

В лучах дневных.

Четыре прадеда моих

В словах мирских.

Четыре прадеда моих

В цветах степных.

Четыре прадеда моих

В лесах глухих.

Четыре прадеда моих

В делах земных.

Четыре прадеда моих

В крестах резных.

Четыре прадеда моих

В мирах иных.

Четыре прадеда моих

Среди былых.

Четыре прадеда моих –

Я возле них.

Четыре прадеда моих

Живей живых.

Убедительно найден мощный ритм. Упругость стиха, его музыкальные акценты, подобные солнечным и прозрачным гармониям церковного хора, репризный контрапункт одной рифмы подчеркивают незыблемость рода и неуничтожимость жизни. Самой жизни на земле людей, жизни как таковой. Именно они, предки наши, те, кто у нас за плечами, дают нам силы жить. Не выжить, а жить в полную силу, глубоко вдыхая воздух полей и рек, любя ближнего, сражаясь с врагами, исповедуясь батюшке и исповедуя силу, красоту, правду и Бога.

Над всем этим в определенных современных культурных пространствах принято смеяться, принято отворачивать от этого лицо, именуя «идеологией, неприемлемой внутри свободного искусства» .

Но это все не что иное, как АРХЕТИПЫ. Это библейские максимы, и именно они держат нас – еще держат! еще лелеют! – на крепких и вечных руках.

Ощущение, что вся жизнь поэта проходит не в замкнутом пространстве, а под открытым небом. Под ветрами времени, овевающими вечность. Вечность в системе духовных координат Александра Орлова вполне реальна, к ней можно и нужно стремиться, идти хоть целую жизнь, изнашивая в ее поисках, в традициях русской сказки, семь железных башмаков. Закованная в четкие катрены поэтика то и дело радостно распахивается, впуская в стих ветер и небо – и выпуская на волю любовь и веру. Ощущение, что внутри канона жесткой рифмы, четкого четверостишия свободно пишется тот образ, который художнику нужнее всего: и чаще всего – святой.

Путь к русской святости – это и путь поэта Орлова. Он слишком мужской поэт, чтобы не быть воином духа. Он слишком русский, чтобы стихом не молиться у русских икон.

Застынет месяц в половодье;

Скорее вплавь,

Порвав сердечные поводья,

Слова отправь.

Утешит образ Параклита

В моей руке.

Чернильным паводком размыта

Зима в строке.